

Сергей ПОПОВ-СОСНИН

ДЁМИНСКИЕ ЗАПИСКИ

рассказы и маленькая повесть



Сергей Попов-Соснин
Дёминские записки (сборник)

«У Никитских ворот»

2018

УДК 82-3

ББК 84(2Рос=Рус)6.4

Попов-Соснин С. Я.

Дёминские записки (сборник) / С. Я. Попов-Соснин — «У Никитских ворот», 2018

ISBN 978-5-00095-506-2

Книга «Дёминские записки» содержит рассказы и маленькую повесть «Дёминская Лолерея». Вышедшие ранее под одноимённым заглавием десять рассказов о сельской глубинке были названы в литературной прессе родниковыми по замыслу, ручьиными и солнечными. Страна детства всегда окрашена дымкой грустного счастья. Бесшумный толчок памяти – и будто серебряная струна-паутина соединяет тебя с давним временем, и ты, маленький мальчишка, чёрный от загара, крепкий и беспечный, шлёпаешь к реке и аккуратно ставишь босую ногу меж камешков и склянок. А рядом твои друзья, и эти друзья впаяны в твоё прошлое так же крепко, как и ты сам, и нет тебя теперешнего без них, как и их без тебя. Повесть «Дёминская Лолерея», представляемая автором впервые, по времени и месту изображения драматической жизни школьной учительницы, которую за провинность сослали на ферму работать телятницей, также не выходит за рамки записок. Окружающий мир, наполненный сокровенными тайнами, открытиями, маленькими победами и совсем не маленькими трагедиями, показан глазами 10-14-летнего мальчишки. Сострадание, сопереживание, сила правды – вот та основа, на которой построены предлагаемые читателю «Дёминские записки».

УДК 82-3

ББК 84(2Рос=Рус)6.4

ISBN 978-5-00095-506-2

© Попов-Соснин С. Я., 2018

© У Никитских ворот, 2018

Содержание

Дёминская Лолерея	7
1	8
2	9
3	11
4	13
5	14
6	16
7	19
8	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Яковлевич Попов-Соснин

Дёминские записки

© Попов-Соснин С.Я., 2018

© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2018

Дёминская Лолерея (Маленькая повесть)

18 июня 1963 года в час дня со стороны Мартыновки полностью, как ночью, потемнело небо. Бесшумно, остро белея, начали вспыхивать молнии. Синяя мгла, приближаясь, стала погромыхивать. На Малодёминском пруду, где я рыбалил, поднялся ветер. Волна зашлёпала о глинистый берег с такой силой, будто его стали бить мокрой тряпкой. Леска на удочке выгнулась дугой и засвистела.

С первыми каплями я помчался домой. Бежать было минут десять, однако через минуту я был вымочен до нитки. Небо громыхало, не переставая, и гром раскатывался так близко, что сотрясался воздух. Заскочив в сарай строящейся школы, я нашёл там стоящего в проёме казака. Он, казалось, не заметил меня. Загорелое лицо его было испуганно-взволнованным, а пальцы, державшие сигарету, дрожали. Подавшись вглубь, мы вместе стали смотреть в открытый проём. От сильного ветра потоки дождя ходили ходуном, залетая в сарай. Молнии вспыхивали между близкими тучами белыми подковами. Неожиданно громовые раскаты прекратились, и дождь ослабел, но только казак заговорил, как гром вдарил с такой силой, что тяжело заложило уши. «Рядом», – по-военному сказал казак.

Через час мимо нашего дома по грейдеру рысью пробежали двое мужчин.

– Вы чего бежите? – крикнула им вслед мама.

– Пронину Гальку убило, – почти не оборачиваясь, ответил один.

– Клавдину Гальку убило, – заплакала мама и села прямо на мокрое крыльцо.

– Господи, взял к себе Бог сиротинку... Клавдия теперь там радуется, – непонятно проговорила мама.

Я был старше Гальки всего на два года и ходил с нею половину своей жизни в хуторской детский сад.

Оказалось, что раскат грома, потрясшего Дёминку, за секунду ранее вдарил в направлении земли молнией. Молния, шириной с руку, вошла в трубу домика, где на койке вместе сидели восьмидесятилетняя бабка и её восьмилетняя правнучка Галька, убила Гальку и отбросила бабку на пол. Очухавшаяся со временем бабка выволокла девочку на двор и заголосила. Прибывшие соседи, поняв, в чём дело, тут же, охая, рьяно выкопали траншейку, положили туда Гальку и по шею засыпали, чтобы земля отсосала электричество. Но девочка, совершенно не обожжённая, а белая и вялая, казалось, заснувшая, так в себя и не пришла.

1

В НАЧАЛЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ послевоенных годов 20-го столетия не было в хуторе Дёминском веселее молодой пары, чем Михальченко: жены Клавдии и мужа Николая.

Клавдию, с первого взгляда, нельзя было назвать красавицей, однако дебелые казаки, встречавшие её на дороге одну, непременно воровски оглядывались. Лицо её было непримечательным: овал в меру ровным, губы не тонкие и не пухлые, нос небольшой; разве что брови казались густыми, так по моде тех лет подводили их краской-сурьмой до черноты и блеска. Роста небольшого, Клавдия имела крепкую и ладную фигурку. Женщины, родившиеся в донской степи и долго жившие у всех на глазах, как яблочки-преснушки, казались спервоначалу невзрачными, что называется «безвкусными», но с некоторого времени вдруг наливались таким соком, такой милой красотой, что у мужчин, окидывавших их своим природно-бесстыжим взором, возникала в глазах наволочь. Что-то неприсуданно природное и манящее было в женщине, отчего казаки напряжинивались. К тому же голос её легонько грассировал на перекате двух букв, «р» и «л», – и оттого казался неземным, мягко-волшебным. Смеялась Клавдия заразительно и легко, да и вообще считалась весёлой хозяйкой. Ну а поскольку она преподавала в средней школе немецкий язык и происходила от матери, работавшей во время войны «не хухры-мухры», как говорили в хуторе, а секретарём райкома партии, то относилась в большом и известном на всю область хуторе к интеллигентской верхушке. Её мать – красавицу Галину Макарову, погибшую во время бомбёжки Ново-Анненского рынка среди сотен других, многие помнили и жалели и теперь исподволь переносили горестное уважение и внимание к Клавдии.

Клавдия в хуторе жила с бабкой и мужем. Бабка была местной, с ближайших хуторов. Поуличному из-за картавости её прозывали Чертопушкой: бабка с детства вместо слова «чертопушка» произносила «чертопушка». Муж Николай был родом с Украины. Он крепко и непритворно любил Клавдию и называл её «моя донюшка». Черноволосый, чернобровый, умевший всё делать с улыбкою – и танцевать, и разговаривать, и исполнять дела по хозяйству, умевший к тому же приятно петь по заказу на диковинном и певучем украинском языке песни «Верховина» и «Чёрные очи», сильно отличавшиеся от местных казачьих «ударистых» песен, – он был на самых почётных местах за праздничными столами. Клавдия несказанно гордилась им, хотя была и ещё одна причина, по которой все были приветливы с Николаем и ею и непременно старались завести с ними дружбу: Николай работал заведующим сельпо. Ну а кто не знает, что заведующий сельпо, куда свозились с громадной полуразрушенной страны и бочки с селёдкой, и шифер, и приёмники марки «Москвич», и духи «Красная Москва», и личное мыло, и «бумажные» носочки детям, и целые тюки бостона или крепжоржета, являлся в колхозе вторым человеком после председателя! Жизнь-то у всех одна!

Так что ни одно застолье в хуторе Дёминском не проходило без мужа и жены Михальченко. Сами они куда как любили устраивать застолья. Ведь всего пять лет, как прошла война, и оставшийся в живых народ принимал жизнь как подарок и жил весело, празднично, одним словом, строил изобилие и процветание. Так на горях в полное лето вдруг вспыхивает лазоревым цветом кипрей, и все радуются цветку и уже не замечают самой гари.

Так весело, любя друг друга и играясь, жили Николай и Клавдия несколько лет, как вдруг летом 1952 года приключилась беда.

Прикорнув после очередного празднества в центре хутора в школьном саду на скамейке, Николай умер во сне. Официально сообщалось, что остановилось сердце, однако хуторские женщины, оглядываясь, тихо прибавляли, что «подавился».

Председатель колхоза распорядился взять на поминки из сельпо практически всё дефицитное, что сохранялось в колхозе на важный день. Правда, водки на столах почти и не было, и даже хуторская выпивоха Шурка Горлова не спрашивала, почему.

2

До сорокового дня Клавдия из дома почти и не выходила. Она механически делала что-то и механически разговаривала с бабкою, не поднимая глаз. Она казнилась, что из-за неё, из-за её недогляда умер муж, ей казалось, что все осуждающе смотрели в её сторону. В особенно тяжёлые дни она сокрушалась, что потеряла не только Николая, но и себя – так тяжко давили низкие потолки, так мало света пропускали пыльные окна.

На пропитание двух женщин запасов было много, Николай давал и людям жить, и себя не забывал. Однако на сороковины во двор набилось столько народу, что пришлось устраивать шесть столов, каждый – человек на восемь-десять, столько вмещала комната, при этом все, будто сговорившись, хотели сказать слово, непременно обновляя рюмку и требуя по русскому обычаю того же от остальных. И неожиданно Клавдия обнаружила, что ни вермишели, ни копчёной селёдки, ни муки, ни даже каменных пряников, которых раньше никогда не проедали мыши, в доме не осталось.

Раньше она заходила в сельпо в любой час, когда и мужа-то там не было, и любой сразу же любезно накладывал ей в сумку что послаще и подефицитней. Чаще других это делал кладовщик сельпо Пётр Пронин. Он и глаз не поднимал на хозяйку, но метал при ней мешки и ящики, добираясь до припрятанного дефицита так расторопно и ловко, что сельповская уборщица Матрёна, женщина суровая, что камень, ходившая по хутору в любую жару в синем рабочем халате и сбитых тапочках, с удовольствием обмолвливалась:

– Пятро при табе горы свярнёт.

После смерти Николая, в первые Клавдины посещения, Пётр кидался к ящикам, как и прежде, а потом, когда в кабинет Николая въехал новый заведующий, враз поутих: «новое дышло куда повернёт – туда и вышло». Зато разговор в укромной комнатке, куда набивались сельповские, всякий раз незаметно обращался к покойному Николаю.

– Да что ты... – с придыхом говорили люди. – Такого человека, как твой Николай, теперь днём с огнём не найти.

Одна Матрёна каркала беззастенчиво грубо:

– Ты, Клавдия, повалялась, как сыр в масле, а таперь и поживи хучь нямного как мы, безмужьёвые, растуды-т-твою мать.

Лёжа ночью в постели, Клавдия измачивала слезами всю наволочку. Вначале она видела Николая как живого и даже цапала постель рядом с собой, где он обычно лежал, и плакала после этого по нему ещё пуше, почти задыхаясь, и стала уже уставать от этого, если б не мятная жалость к себе. Но на следующий день после сороковин она вдруг почувствовала, что Николай пропал. И фигура его, которую она видела с закрытыми глазами всегда, когда хотела, потеряла крепость и осязаемость. «Всё», – поняла Клавдия. После этого она все слёзы обратила на жалость к себе, и дышать стало почему-то легче.

С некоторого времени Клавдия, перебирая как обычно в памяти то одно, то другое, заметила, что когда возникал в её мыслях кладовщик Пётр, она притихает и даже смеётся, вспоминая, как играючи мечет тот ящики со звенящей посудой.

Клавдия ранее и не обращала внимания на Петра Пронина. Он и одевался не так, и говорил, а точнее, молчал не так, и курил в кулак, будто прятал ото всех свою папиросу. Николай был весь напоказ, в центре, а Петро, как бирюк, и в битком набитой комнатке умудрялся угнездиться на отдалёке. Единственное, что неволью отмечала Клавдия: муж и с мужчинами, и с женщинами говорил одинаково открыто, а Пётр, если Клавдия рядом была, воды в рот набирал – молчал и молчал, тихонько вздыхал и вздыхал, боясь ненароком задеть взглядом гостью. Когда же Клавдия собиралась, спохватывался и просил: «Да посиди ещё трошечки».

Клавдия однажды рассмеялась ему в лицо: ты, Петро, сидишь рядом со мной, как возле печки-буржуйки спиной – то ли греешься, то ли просто кемаришь, то ли девок тебе надо, холостому!

3

Но вскоре прошёл и не месяц, и не два, а целый год после мужа, и пошла Клавдия попросить водки на поминки не к председателю колхоза и не к директору сельпо, а пошла к Петру. И Петро всё сделал, как надо. Пошухукался с кем надо, приволок ящик белой да ещё отдельно одну полбутылку в кармане. Разрезал на газетке селёдку, нарубил ножом колбасы.

Выпила с ним Клавдия водку – и стало ей так же хорошо, как в те давние времена, казалось, вот сейчас вывернется из-за притолоки её Николай и засмеётся: вы чего без меня выпиваете? И оказалось, что хотя прежде и молчал Петро и сидел отдельно, как пень, – а не было в хуторе теперь человека ближе к ней, чем он, не считая бабки. Ведь хотя и молчал Петро, да не забыл же он, какова была ранее Клавдия рядом с Николаем Михальченко! Чувствовала Клавдия, что он единственный кроме неё всё помнил и понимал! И плакала Клавдия ещё и потому, что тень того счастья, как лёгкая дымка, возникала теперь почему-то только рядом с Петром, хотя Петра-то она ранее ни в грош не ставила. А теперь он, медвежковатый, жив, а Николая, умного, весёлого и пригожего, нет – и это было высшей несправедливостью!

Сразу после поминок, когда все, не чокаясь, выпили по одной, и другой, и третьей за упокой души Николая, когда громко и развязно нагутарились и ближе к вечеру особо хватившие даже попытались спеть песни, любимые Николаем, Клавдия вдруг ахнула: да что же она как в полусне год прожила? Ведь у них с Николаем на тот год задумка была, обсуждая которую, они, как голуби наворковавшиеся, счастливо засыпали.

Через день, разодевшись в панбархат, Клавдия пришла к председателю.

– Захар Прокофьич, – начала Клавдия, – ты ведь мужа моего, Николая, помнишь.

– Помню, – насторожился председатель.

– Я ведь пришла к тебе просить строиться. Хатёнка у нас сам знаешь какая. Мы с Николаем ведь ещё когда собирались строиться... – потупилась Клавдия.

– Помню, Клавдия, что давно собирались. Да зачем тебе хоромы понадобились, чего вдруг замогутилась? – неожиданно спросил председатель.

Вместо ответа Клавдия заплакала. Как объяснишь председателю, что Николай этого хотел? Что со стройкой, может быть, жизнь свежим ветром наполнится?

Подождав, пока женщина успокоится, председатель, глядя в окно, стал рассуждать:

– Лесу, положим, в Мартыновском лесничестве тебе выпишу, красный кирпич из Новой Анны сама привезёшь – машину дам, гвоздей пару ящиков с области перекину. А крышу-то чем крыть будешь, толью? Железо, сама понимаешь – дефицит, днём с огнём не найдёшь. Из Москвы раз в году по разрядке еле-еле ухватишь. Детские корыта, и те с боем из Москвы получаем.

– Захар Прокофьич, – оправившись, произнесла Клавдия.

– А плотники кто? Наши? На магарычах? – насупился председатель.

– Захар Прокофьич, – снова сказала женщина. И в это «Захар Прокофьич» было столько вложено душевных оттенков, столько глубины, что председатель, оторвавшись от окна и как-то по-новому взглянув на Клавдию, неожиданно засмеялся и буркнул:

– Да ну вас, строительницы...

Лес привезли из Мартыновского лесничества. Ездили дважды, дубки накладывали доверху, и оба раза Клавдия одаривала лесника «Московской». Он бы и в третий раз с напарником наложил, да упёрся шофёр – машина не лошадь, по ямам скакать – весь баббит на углах поплавишь, сиди тогда в гараже загорай. Да и разгружать брёвна спина не казённая.

И ему пришлось полбутылку поставить. Спасибо, выручил Пётр. Издали увидел машину, пришёл и работал, как заводной.

– Ну, Пётр, спасибо тебе, что помог.

– Да-к чего уж, если надо чего – зови, – ответил Пётр.

Со строительством дома жизнь Клавдии действительно наполнилась каким-то азартом, хотя и разделилась на две половины.

Одна – школьная половина. Там Клавдия по-прежнему была существом почти неземным. Одета в серый и строгий пиджак, жёлтую крепдешиновую кофточку, в лакированных туфельках, каких не было даже у жены директора, пахнувшая «Красной Москвой», а не мылом «Ландыш», в учительской она казалась если не розой, то жёлтой мальвой на скромном лугу. Родители учеников, считавшие многих учителей почти небожителями, уступали им место в очереди за хлебом; дебелие мужчины, обычно загивавшие за каждым словом «в мать-перемать», рядом с учительницами почти никогда не матерились. Клавдия хорошо знала немецкий, и это также учитывалось и школой, и районом. Не каждая десятилетка имела учительницу-«немку». Мужчин-учителей немецкого языка вообще в районе не было ни одного.

Другая половина жизни Клавдии – домашняя. Клавдия вместе с бабкой по-хуторскому вносили корову, коз и овец, птицу. Но на людях Клавдия, – боже упаси, чтоб прошлась с коровою. Встречала корову на выгоне или шкандыляла летом в полдень доить в недалёкий Репный всегда бабка, а Клавдия только выдаивала корову по вечерам, в котухе, где никто за этим сельским занятием её и не видел. Однако со строительством дома и эта, домашняя половина жизни, редко ранее выставляемая напоказ, переменилась. Строительство требовало то того, то сего, а денег было в обрез. Соседи, поначалу в охотку выручавшие Клавдию то разгрузкой, то переноской брёвен с места на место, то рублём до получки, заметно к ней охладели. И было ещё одно, отчего.

Клавдия не заметила, как она почти каждый день стала нуждаться в Петре.

Пётр безропотно грузил и разгружал, благо этим в сельпо он занимался, не считая за труд. Находясь рядом с плотниками, он всё чаще брался за молоток, ну а когда тем надо было работать на верхотуре, обрешечивать крышу, то кто же им мог подавать доски, кроме Петра? Он и подавал.

Плотники, ещё нанимаясь на строительство, обговорили себе у хозяйки ежедневный стол и чекушку. И вот вечером Клавдия прямо на дворе раскидывала скатерть, куда накладывала малосольных огурчиков, рассыпчатую картошку в мундире, размольный и белый хлеб, а когда и золотистой курятинки. На готовый стол из горницы приносилась бутылка беленькой. Плотники, возбуждённые трапезой, в один голос кричали, что без хозяйки не сядут и не позволят себе ни грамма, а промедление в этом деле смерти подобно. Клавдия садилась, смеясь, и, несмотря на гвалт мужских голосов, вдруг чувствовала, как ветерок откидывает её прядь руками Николая, как тело наливается силой, будто после мимолетной разлуки с мужем, и что все её любят, как прежде, сидящую рядом с Николаем.

Ох, и хорошо было после этого думать, как заживут они с бабкой в доме, как порадовался бы Николай новому дому!

И как хорошо было окрест: дом стоял рядом с прудом, над которым беспрестанно вечерами носились ласточки. Белея рубашкой, они едва касались воды и щебетали и щебетали, наполняя свежий воздух грустным и умиротворённым весельем, тем, чем кроме них могут создать настроение только несмышлёные дети.

Тёплыми сумерками, стоя у верб над прудом, Клавдия улыбалась, слушая этот нежный и грустный щебет. Казалось, он лился с самих небес.

4

СПУСТЯ ДВА ГОДА после смерти мужа Клавдия вышла замуж за Петра. В 1955 году у них родилась дочь, которую они, в память погибшей Галины Макаровой, бабки девочки, назвали Галкою.

Наличники и ставни к дому выдвигал уже сам Пётр Пронин. Женившись на Клавдии, он как будто заполонил собою весь дом, и даже бабка в нём потерялась, заняв самую маленькую комнатёнку. Пётр стал большим любителем ходить в клуб смотреть картины. Клавдия сначала не хотела идти в клуб ни в какую, то ссылаясь на проверку школьных тетрадей, то на беременность. Однако когда уступила мужу и увидела, как бережно вёл он её по улице, как менялись его всегда угрюмые глаза при приветствиях хуторян, как гордился он ею, то поняла Клавдия, что перешагнула она в новую жизнь и теперь надо жить сполна этой новой жизнью. Да и многие ли нашли себе мужа среди послевоенных мужчин, выбитых войною поболее, чем наполовину? И то, что состоялось её второе замужество, а у многих – ни одного, вновь делало Клавдию если не счастливой, то умиротворённой и спокойной.

Пётр, работавший так же в сельпо кладовщиком, хрип особо не рвал. Он в точности знал, кому сколько чего надо дать и сколько взять себе, сколько идёт на усушку, утруску, как разбить бутылку-другую, не пролив ни капли и как умело, чтобы комар носа не подточил, составить акт о разбитии.

Пётр, поняв, что выпивка на работе стоит себе дороже – Клавдия тогда, выпитого, переставала замечать его, – вечером молча ставил бутылку на стол, резал копчёное сало и коротко произносил: «Ты, мать, распорядись».

Клавдия подсаживалась рядом, иногда на скалик звали и бабку. Клавдия, выпив, начинала смеяться, всё ей становилось нипочём. Вспоминая, как директор школы Грач Александр Тихонович на педсовете чихвостил новую учительницу, а та не понимала, за что (Грач редко кого «пропускал» мимо себя из новеньких учительниц), Клавдия смеялась и смеялась. «Жизнь – не поле перейти», – вспоминала она любимую назидательную поговорку Грача и вновь закатывалась смехом. Уж она-то знала, что Грач мог быть и первым, и вторым, и третьим, смотря с кем говорил и по какому поводу. Уж она чувствовала перед тем, как расписаться с Петром, что глаза Грача начали поблёскивать и в её сторону, и ладонь его невзначай ложилась на руку женщины, и только то, что назывались они когда-то с Николаем кумовьями, да черная газовая косыночка, которую по-прежнему носила Клавдия то на голове, то на шее, останавливало директора от опрометчивого шага.

Клавдия и раньше любила застолья, а теперь не проходило недели, чтобы они не присели с Петром за беленькой. Женщины в хуторе, кроме пропащей алкоголички Шурки Горловой, водку просто так никогда и не пили, и Петру желание супруги стукнуть хрустальным бокальчиком о его гранёный стеклянный стакан и долго слушать комариный звон, казалось капризом. Следующим утром он поначалу подтрунивал над супругой, рассказывая анекдот о том, как русский мужик помер не от водки, опившись её, а от того, что ему не дали опохмелиться. «Побудь-побудь в нашей шкуре», – говорил он, смеясь над супругой и плеская себе в стакан огуречного рассольчика. А однажды, когда и Петра рядом не было, Клавдии так сильно захотелось даже не хмеля, а того жалостливого чувства к себе, которое появлялось у неё после хмеля, что она механически подошла к шкафу, вынула бутылку, налила гранёный стакан, выпила, поженски не морщась, сказала: «прости меня, Коля», повалилась на постель и заснула. Спасибо, бабка, заглянув, унесла со стола бутылку да смахнула передником лужицу, набежавшую из друшлака, полного не попробованных солёных поташков.

5

Построив дом, вновь выйдя замуж и родив дочку, Клавдия, казалось, обрела то, что в праздничных открытках называют счастьем: телесное и душевное здоровье, семейное благополучие, радость. Даже Матрёна, подрядившаяся возить на лошади хлеб с новой пекарни до сельповского магазина и не переставшая материться даже в магазине, встречая Клавдию, каркала:

– Ты, Клавдия, в рубашке родилась: одного мужа Бог взял, так ты другого охомутила!

От Матрёны пахло сельпо – и Клавдия, проводив её взглядом, вплывала в полузабытый мир, где рядом грезился Николай, где в воздухе курилась лёгкость, где было беззаботно и солнечно. Она шла, и степной ветер вновь гладил её тело руками Николая, и солнце, припекая, покалывало её щёку губами Николая. В такие минуты, оказавшись рядом с Петром, она отстранённо называла его «Пронькин». А он разводил в стороны громадные безвольные кулачищи и сокрушённо опускал их, показывая тем самым, что ничего не понимает.

Между тем в школе директор Александр Тихонович Грач твёрдой рукой правил миром. Дважды в неделю он назначал педсоветы, и ни один случай, ни одно слово, сказанное даже шёпотом, не оставались без его внимания. Он хотел знать и знал всё: благо жена его работала рядом, а через неё мудрые и язвительные женщины обронивали все хуторские новости так тонко, будто они сами прилетали с неба. Прошедший полвойны, Грач любил говорить, что случайности случаются на войне, где пуля – дура, а в мирной жизни всё диалектично. «Как из семени вырастает дерево, так из слова вырастает дело, а из поступка – характер», – назидательно заключал он, отпуская нашкодившего ученика. Когда кто-то из молодых учителей философски замечал по случаю, что дело яйца выеденного не стоит или что жизнь есть жизнь, Грач распрямлялся и чеканил ещё более определённо: «Мы победили немцев – жестокого и коварного врага, а с мелкими недостатками тем более справимся». После этих слов все поёжились, и никто более не рисковал философствовать.

Грач по-прежнему благоволил к Клавдии. Вместе с Клавдией уроки немецкого в большой школе вела ещё одна учительница, Марь Лукинична, как все её звали – дочь одного из первых коммунистов, устанавливавших советскую власть в близлежащих хуторах и станицах, а на подходе к преподаванию была жена директора, Лидия, заканчивавшая двухгодичные курсы немецкого языка в Урюпинске. Лидия нередко посещала уроки Клавдии, а та делилась с молодой учительницей всем, что имела, – и это ещё более увеличивало приязнь директорской семьи к Клавдии.

Так бы и катилась тихо жизнь Клавдии, обретшей второе счастье, да говорится, что человек полагает, а жизнь располагает. Но обо всём по порядку.

Летом 1957 года в далекой Москве прошёл-прокатился Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Все дни хуторской репродуктор, висевший на телеграфном столбе у сельмага, взрывался песнями, сладкими голосами африканских гостей и молодым смехом. Эдита Пьеха, взявшаяся ниоткуда, грассируя, пела свой «Червоный автобус». Все ахнули, увидев, что жизнь на самом деле широка и прекрасна.

После фестиваля, «незабываемого глотка свободы», как писали самые передовые газеты, руководство партии выдвинуло идею нового мирного наступления на империализм. Оно должно было идти по всем фронтам. Согласно доктрине, в министерских кругах школьного образования вменили в обязанность широко использовать в школах дидактический материал, который мог бы раздвинуть границы в познании всей планеты. На деле это означало, что учитель географии, например, рассказывая о Тунисской Республике, должен был показать ученикам рисунки или открытки с развалинами Карфагена, античными статуэтками, а также разрезами фосфоритных месторождений, которые беззастенчиво грабились эксплуататорами. Этим

самым и раздвигались границы мира, и школьники, наделенные воображением, могли как бы путешествовать по миру.

Дёминская средняя школа одной из первых подхватила этот почин. Сам Грач, историк по образованию, проходивший с ребятами особо любимую им историю гуситских войн, демонстрировал иллюстрации из Пражского Града, где победившие церковники сажали бедных гуситов на кол. Жестокие изображения, кроме правды жизни, должны были обличать реакционную церковь и заодно антинародные режимы. Отныне всем учителям было вменено в обязанность иллюстрировать уроки картинками.

Однажды, подбирая картинки к стихотворению Гейне «Лорелея», Клавдия вдруг поновому отнеслась к божественным строкам поэта. Ранее, знакомя учеников со стихотворением на немецком, она, зная о своём грассировании как раз на сочетании «р-л» и стеснявшаяся его, всегда просила прочитать стихотворение кого-то из лучших школьников. На этот раз она с чувством прочитала сама и немецкий, и русский тексты великого стихотворения о неумолимой судьбе, а иллюстрации, изображавшие красивую задумчивую девушку на крутом берегу полноводной реки, вывесила на доске в классе и приказала не снимать их до поры до времени.

Как-то, возвращаясь сентябрьским тёплым деньком из школы и дойдя до пруда, Клавдия присела на бережке.

Ещё с утра этот пруд был как пруд – грязноватый, набравший позднелетней ряски. Его берега были ископаны острыми коровьими следами, частью захламлены прибитыми в половодье плетнями и остатками мальчишеских плотов. Гулявшая на дневном ветру волна всегда отливала зелёным маслом и казалась тяжёлой и вязкой. Теперь же было предвечерье. Клонившееся долу солнце мягко и щедро освещало пруд. В прозрачном воздухе, посверкивая, висели паутинки. От этого тёплый воздух казался колким и свежим. Маленькие лягушата, остромордые, с зелёными глазками, грелись на старых поваленных стволах. Чёрный ужик, сильно рассекая воду, проплывал одной и той же дорогой то туда, то обратно. Со старых верб, произраставших в крутом овраге за плотиной, доносился грай грачей.

Всё это, сотню раз перевиденное, услышанное и потому застланное привычной пеленой повседневья, не сразу открылось Клавдии. Но чем больше в задумчивости она сидела, тем острее пахли вербы, тем таинственнее и маняще проступали водоросли, тем необычнее казались игрушечные лягушата. Даже красный паучок, стремительно выскочивший на руку и застывший на мгновение острой точкой, заставил затаить дыхание. Когда же ближе к сумеркам прилетели чернокрылые ласточки и нежно-переливчато защебетали, носясь над прудом, Клавдия беззвучно расплакалась. Далёкая Лорелея, певшая грустную песню о людской доле и судьбе, казалось, донесла свой грустный мотив сюда и тонким голосом ласточек, влажным шелестом листьев всё выводила и выводила волшебную и завораживающую мелодию.

6

В ту осень Клавдия снова потеряла себя.

Слухи о том, что Клавдия на сей раз запила, недолго оставались слухами. Сначала директору Грачу донесли, что Клавдия вечерами сидит в одиночестве на берегу Большедёминского пруда и покачивается, напевая какую-то песню. Потом рассказали, что она на весь улус ругалась с бабкой, а та в сердцах назвала её чекалдыкнутой, что на местном языке означало «пьющей женщиной». Потом Клавдию якобы видели в доме Шурки Горловой, известной выпивохи, ничего и никого не боявшейся. Эта Шурка ещё с войны работала счетоводом и не ошибалась в цифрах даже в подпитии. К её изъянам – красному носу и длинно торчащим из короткой плюшевой душегрейки рукам, к хмельной весёлости, – давно привыкли и смирились. Но чтобы Клавдия, учительница...

Директор Грач каждое утро стал принюхиваться и приглядываться к Клавдии, чем приводил её в полуобморочное состояние. Придя домой и хватив чекушку, Клавдия выплёскивала это унижение и скованность и долго рассказывала всем домашним, какая Грач есть нехорошая амфибия: с одними притворно добр, других выживает. (Где-то Клавдия вычитала, что амфибия в переводе с греческого означает существо, ведущее двойной образ жизни.) Муж Пётр при этом посмеивался, а бабка, ковыряясь у печки или нянчась с правнучкой Галькой, предрекала, что добром это всё не кончится.

Так и случилось.

Однажды, когда Клавдия пришла заниматься с вечерниками, выпив всего-то полрюмочки, Грач коршуном завис над обомлевшей Клавдией и тут же отправил её домой с занятий, заменив урок немецкого языка уроком истории. Рассказывали, что Грач в тот вечер на уроке был несказанно оживлён; он рокотал громом, смеялся, размахивал руками, как степной ветряк, и пригвоздил к позорному столбу всех, кто мешал средневековой истории развиваться в нужном, народно-освободительном, направлении.

После нескольких случаев, когда Клавдия беспричинно не выходила на работу и когда от нее пахло, Грач доложил в районо о ситуации кому следует. В районо задумались. С одной стороны, Клавдия была дочерью погибшей в бомбёжку секретаря райкома партии Галины Макаровой, которую все помнили и жалели, а её дядя, Иван Макаров – израненный фронтовик, и вовсе был председателем ревизионной комиссии в том же райкоме. С другой стороны, в святилище знаний – школе – дозволялось выпивать ну какому-нибудь шофёру или завхозу, но никак не учительнице, тем более партийной. На всякий случай заврайоно, обставив весь разговор секретностью, справился в области, что делать? – а там, не зная ни Клавдию, ни её мать, ни тем более дядю, его резко одёрнули: раз пьёт – пусть не детей учит, а быкам хвосты крутит. И даже когда заврайоно, смутившись, что разговор пошёл не по той стёжке, заметил ответственному лицу, что у директора дёминской школы есть в этом деле свой интерес – жена его получает в Урюпино диплом учителя, а свободных мест нет, – так и не получил участливого внимания. Молодой начальник, смотревший на собеседника по-ужиному прямо, не моргая, сказал:

– Партия должна быть кристально чистой. И если есть хоть доля сомнения в чём-то – читайте устав партии и поступайте строго по уставу. Там всё написано.

Тут уж заготовленный аргумент про родственника оступившейся Клавдии – председателя ревизионной комиссии райкома Ивана Макарова – тем более оказался неуместным, и заврайоно его так и не озвучил.

– Дурак, – прошептал он, закрывая вторую дверь кабинета. Но встретив испуганный взгляд секретарши, досадливо крякнул, стукнул себя кулаком по голове и тем самым красноречиво показал, кого на самом деле он назвал дураком.

Получив выданное им самим же одобрение сверху, Грач немедленно собрал парт-группу школы, и мало-помалу, обрисовывая морально-общественный портрет падшей Клавдии, накалил воздух так сильно, что все стали кричать: одни за Клавдию, другие, в основном женщины-одиночки, против неё. Достав из стола заготовленный лист, Грач твёрдо зачитал проект постановления заседания, где коммунистке Клавдии Михальченко выносился строгий выговор и предупреждение о её несоответствии моральному облику коммуниста.

Хромоногий учитель физики Григорий Анисимов, бывший сбитый лётчик, по обыкновению зайдя к директору, когда все разошлись, – на стопарик, не преминул заметить:

– Ну, Тихоныч, ты как кочет расквохтался, далась тебе Клавдия...

Однако Грач, при случае всегда мирно пропускавший шкалик с товарищем, травивший с ним анекдоты про баб, не стеснявшийся погордиться своими кочетиными победами, на сей раз развернул грудь и выдохнул:

– Мы, Гриша, с тобой победили фашизм – тем более справимся со школьными недостатками.

А Клавдия... Клавдия с двадцати лет была членом партии и в глубине души гордилась этим больше, чем замужеством, а позже даже больше, чем рождением дочери. Ведь дети были у всех колхозниц, а партийные билеты – у единиц. Была и ещё одна причина, почему Клавдия так рано стала коммунисткой. Об этой причине знали не все, сама же она относилась к своей партийности со святой верой, что именно так и должно было быть, и никогда не задумывалась об ином пути в жизни.

А причина была следующей.

...В тот день, воскресенье 23 июня 1942 года, Клавдия, ещё девочка, с утра пошла с мамой на рынок. День был солнечным, безоблачным, сухо жарким. На Ново-Анненский рынок, располагавшийся в центре рабочего посёлка, съехалось с ближних и дальних хуторов и станиц почти всё взрослое население. Колхозники – в основном бабы в туго повязанных белых платочках – на застланных арбах привезли пшено, гречку, муку, сало, топлёное масло и жир, неснятое и портошное молоко; в скотную часть рынка, располагавшуюся по обеим сторонам железной дороги близ переезда, пригнали стада коров. Местная кооперация выкинула керосин, соль и спички. Три дня прошло, как немцы в первый раз бомбили вокзал, и все заспешили сделать запасы, либо поднакопить деньжат. Рынок также заполнили приезжие и военные.

Клавдия с мамой, выйдя с Ленинской улицы, сначала прошли по правым рядам рынка, где в магазинчиках продавали пальтушки, чулки, нитки, другой галантерейный товар. Поговорили с продавцом дядей Васей Аристовым, прошли мимо смешного старика-татарина, который без конца повторял: «Товар – двадцать пять кипеек». Потом завернули на крытый рынок, располагавшийся в центре площади. Приценились к мясу, молоку, маслу. Клава, конечно же, высматривала конфеты монпасейки и ералашки, а мама больше здоровствовалась со знакомыми, чем посматривала на товар: её, секретаря райкома партии Галину Макарову, многие замечали и многие приветствовали улыбчиво, дескать, и мы здесь, простые смертные. Потом они несколько раз прошли по открытым рядам, где люди торговали кто чем: кофтами, старыми пиджаками и фуфайками, нитками на пуховые платки, солью, серебряными ложками и вилками, обмененными за питание у проезжавших через станцию Филоново ленинградцев. У монополюшки встретили Лёлю Митрофанову – сестру председателя исполкома Федота Васильевича с подружкой Катей Егуновой и вместе с ними мимо аптеки направились к продмагу и галантерейному магазину, стоявшим в левом дальнем углу рынка напротив друг друга. В продмаге проведали Марию Попову, в галантерейном – Марусю Шаповалову. Все радовались друг другу и сообщали главное: кто жив, что с кем случилось, кто пропал на фронте.

В одиннадцать часов дня радостно гомонившие на рынке люди услышали приближающийся небесный гул. Кто-то вскинул ладони, но на солнце ничего не было видно. Через несколько секунд поначалу невидимые, со стороны всё того же солнца показались около

десятка самолетов с чёрными крестами. Никто из людей, кроме редких военных, бросившихся наземь, даже не присел. Первые самолёты шли низко и разом ударили по толпе пулёмётными очередями и выбросили бомбы. Раздались взрывы, и бабы неистово заголосили, дети закричали, раненые коровы испустили дикий рёв. Многосотенная толпа дёрнулась было бежать, но новые и новые самолёты, устроившие карусель, поливавшие людей пулями, заставили всех в ужасе залечь на месте.

Застлавшие воздух клубы пыли, едко запахшая бомбовая гарь, крики, стоны, рёв обезумевших от боли и грома животных – всё это врзалось в сознание людей так быстро и неожиданно, что мало кто мог вырваться из смертельной круговерти. Самолёты заходили раз за разом над рынком столь долго, пока не кончились у немецких пилотов, также называвших себя людьми и охотившихся на людей за несколько тысяч километров от родины, пулёмётные ленты и осколочные бомбы. Только несовершенство убийственной техники – недостаток горючего, бомб и пуль – прекратило эту ново-анненскую голгофу. В живых остались те, кого защитили своими телами бывшие прежде живыми люди. Развороченный рынок чернел убитыми.

Мать Клавдии, Галину Макарову, как и девочку Катю Егунову, убило осколками в галантерейном у прилавка Маруси Шаповаловой. Всего же с приезжими и военными погибло около тысячи человек. Уже к вечеру молчаливые военные, чувствовавшие и свою вину за непродуманное скопление гражданского населения в прифронтовой полосе, погрузили на арбы трупы и скорым шагом вывезли их в общую могилу на Громковское кладбище. Кто успел из родственников, тот забрал своих и похоронил там же на поселковом кладбище, либо у себя на хуторе или в станице отдельно.

Клавдию своим телом прикрыла мать. Хрипя немеющим горлом, дрожа, она успела прошептать то, чего ранее никогда не произносила: «Спаси тебя Христос, доченька».

И Клавдия осталась жить. И это чувство, что она осталась жить за счет смерти матери, укрывшей её, то обостряло желание жить, то ввергало в страшную безысходность. Ведь она ничего не могла сделать, чтобы избежать осколков и пуль и сохранить жизнь матери, – и только судьба, Бог, страшное желание её матери, в последнем движении прижавшей к себе дочь, уберегли её, девочку, от страшного небытия. С тех пор для Клавдии всё, что было у её матери, стало святым. И, конечно же, святой для Клавдии была партия, куда девушку, прежде всего памятуя о её матери – секретаре райкома, приняли вскоре после войны, долго не раздумывая.

7

Удар на школьном партсобрании был такой страшной силы, что Клавдия почувствовала себя погребённой, как во время бомбёжки, – и она, как дошла до дома, так и повалилась на кровать, и провела несколько дней в полузабытьи, выкрикивая имена то мамы, то Николая, то директора школы Грача, прося помощи у одних и оправдываясь слезно у других. В бреду она никого не ругала.

А личное дело Клавдии, теперь уже и прогульщицы, быстро покатилося тележным колесом с высокой горки вниз. Был педсовет школы, где Грач опять-таки, когда дело пошло враскачку, выкрикнул, что Коммунистическая партия и весь советский народ победили фашизм и тем более справятся с мелкими недостатками. Когда большинством голосов Клавдию освободили от работы в школе, даже те, кто кричал-раздирался о пьянстве больше всех, выходя на свежий воздух, с горечью подумали: да что же мы наделали!

Не прошло и недели, как Клавдию вызвали на бюро райкома партии, где в её учетную карточку члена КПСС записали строгий выговор с предупреждением об исключении. Знающие люди понимающе шушукались: дядя-то её заболел, на парткомиссии не присутствовал, так во-он как дело-то повернулось.

Так почти в одночасье и оказалась Клавдия на задворках жизни, а точнее, на задворках хутора – на молочно-товарной ферме, в просторечии – МТФ. «Кто не работает – тот не ест», гласил один из главных принципов строителей коммунизма. И его неукоснительно соблюдали партийные или беспартийные – все на всём большом пространстве великой страны.

Новый для Клавдии коллектив МТФ – в основном доярки и скотники – встретил Клавдию по-людски, то есть сделали вид, что она всю свою жизнь без перерыва работала здесь, на ферме. В первое же утро на планёрке в красном уголке заведующий фермой Александр Двужилков, как бы не замечая Клавдии, распределил по работам механизаторов и подменных скотников, переругиваясь с наиболее ретивыми да несогласными и по-будничному определил Клавдию работать телятницей. Народ долго мялся в комнате, словно ожидая ещё чего-нибудь, но завфермой громко прокричал «всё, чего вылупились!» и, не глядя по сторонам, лично повёл Клавдию показать ей место работы: загаженные навозом клетки-стойла, небогатый инвентарь: скребки, лопаты-шахтёрки, алюминиевые ёмкости-соски с порепанными резинками выпаивать телят, да тускло отсвечивающие жестью цибарки.

– Становим тебя, Клавдия, на самый нужный участок, – сказал Александр, – поднимать на ноги теляток. Пока походи с телятами-летошниками на попас, а придёт январь – направим на выпойку, будешь принимать новорожденных, кормить их-выпаивать.

– Они и сами в первый час на ноги становятся, – почему-то весело ответила Клавдия, показывая, что и она всё знает в этом деле и как бы благодаря его, что тот не стал разводить тары-бары на потеху досужим женщинам.

– Так-то оно так, да в прошлом году спасибо с Косовской фермы показатели к нам перекинули – еле план сообщча с ней по поголовью телят выдюжили. То три коровы в прохолосте зазимовали, то на телёнка первотёлка, опрастываясь, ногой ступнула да поскользнулась на ровном месте, дурыи рога.

Помолчав, добавил тихо:

– Ты у нас, Клавдия, самая ответственная будешь – давай не подводи.

Конечно же, Клавдия всё это видела ещё в девчонках и на этой ферме, и в собственном котухе, но в первые минуты планёрки она чувствовала себя если не в тюрьме, то на пороге страшного суда. Но суда не оказалось. Помыкнулась было звеньевая, доярка Шурка Александрина, по дороге уточнить что-то, как Александр так о надоях вскричал, что голуби, жавшиеся вверх у разбитых оконцев, шумно форкнули, улетая. Александрина и заткнулась.

Народу на МТФ действительно не хватало. Чуваши да марийцы, в основном безмужьёвые женщины с детьми-малолетками, приехавшие в богатый хутор, освоившись, стали время от времени запивать да прогуливать. «С Колюськой сели поузынать, да сосед засол – ну и проспала...» – бесхитростно отвечала одна. Товарка её и вовсе не говорила ни слова, будто немая.

Клавдии поручили пасти телят. Внутренне снеся унижения, ни жива ни мертва, уже через пару недель она, обветренная, прижжённая солнцем пополам с утренними заморозками, освоилась и в синем халате стала почти неотличимой от других. И лишь приятный картавящий голос, держание себя на отдалёке от других даже в битком набитой комнате, да полное отсутствие матерщины выделяло её среди доярок.

Был разгар осени. Клавдия выгоняла телят почти на рассвете, благо светать начинало поздно. Дорога была одной и той же – в Репный, пологую длинную балку с прудом, запертым низкой плотинкой.

После первых ноябрьских заморозков, побивших почти всю заматеревшую травку, неожиданно наступили яркие солнечные дни, и вернулось бабье лето. Через три-пять дней теплыни сквозь пожелтый старник стала пробиваться свежая зелень, земля преобразилась. Паутинки снова залетали в воздухе, отсверкивая острыми лучами-стрелками, прелью запахло пряной, воздух стал упругим и звонким, небо, будто синькой подкрашенное, почти до звёзд вверх выгнулось. «Это мне подарок, это природа говорит мне, что даже на развалинах вдруг блеснёт солнце и обновит всё и вдохнёт настроение жить и любоваться всем сущим: и пчёлкой проснувшейся, и лебедем запоздалым», – не раз думала Клавдия.

Выходя со скотного база, телята вприпрыжку, взбрыкивая, бежали на выгон, где зелена свежая травка. Пощипывая её, либо наотмашь срывая кудели старника, либо на ветру смешно гоняясь за сухим шаром растения «перекати-поле», они спешили насытиться. Хруст срываемой травы, глубокие вздохи, сопение, шорох шагов подгонял их самих. Не снижая скорости, вся ватага поутру спешила к Репному пруду напиться. Он был километрах в трёх. Там, на склонах длинной балки, трава была пообильнее, там можно было вдоволь набегаться или просто постоять, нюхая острый воздух и по привычке стегая себя метёлкой хвоста.

Сердце Клавдии, до того закаменевшее, начало отходить. Она стала замечать кустики цикория при дороге, убранные, как новогодние ёлки, тончайшими паутинками, резные розетки одуванчика, вскатившего на взгорках, столбики одиноких сусликов, стоявших на часах у своих норок. Колхозное стадо телят неожиданно стало родным. Если раньше Клавдия отрывисто и тонко кричала на не знавшего удержи телёнка: «куда, назад!», то теперь она призывно увеливала его же, называя по имени, и тот, одарив внимательным взглядом, поворачивал, куда нужно. Неожиданно для неё весь гурт распался на «Зорек», «Звёздочек», «Белоногих», «Нравных» и даже «Любимиц». Иногда вечером бабы-доярки, смеясь, спрашивали Клавдию: «Как зовут вон ту тёлочку, в чулочках?» – и удовлетворенно почмокивали губами, услышав – «Красавица».

С разбега утыкаясь в берег пруда, телята долго цедили воду, фыркая, потом неспешно разбрелись, ища травку погуще. Клавдия, подоткнув под себя ворох соломы, оброненной то там, то здесь, садилась передохнуть. Берега Репного пруда были голыми; кустики, съедаемые вечно голодными бычками и коровами, топорщились ветками только в заливаемых по весне отрогах.

Позднеосенний пруд был спокоен. Всё сущее – лягушки, ужи, озёрные птицы – либо спряталось на зимовку, либо улетело на юг. Хотя в тёплом воздухе таилась умиротворённость, мысли, свободные странники, то паутинкой мерно плыли по пространствам былой жизни, то остро кололи всполохами, высвечивая незаживающие обиды. «Почему я не могу заснуть, как ящерка, а потом вернуться в новую жизнь, весеннюю, где всё привольно? Почему я не могу сняться с места, как вольная птица, и перенестись хотя бы на станцию жить?» – скидывалась

Клавдия. «Ты мать и жена, пусть несчастная, – отвечала она себе же. – И что же ты будешь делать на станции, чёрной, задымленной, гулкающей составами?»

«Да и жена ли теперь я такая?», – вяло мелькала мысль. Её муж Пётр всё чаще стал заночёвывать в старом доме у собственной матери – то ему это надобно сделать, то другое. И одиночество ещё больше придавало жалости самой к себе. Накатывались слёзы, и только ветер мог осушить их, холодя мокрые щёки. Клавдия всхлипывала и в жалости к себе на миг засыпала и снова вскидывалась, и вновь засыпала.

Однажды она прикорнула и впрямь крепко. Стайка воробьёв, косивших глазами и сторожко чирикавших, заскакала почти у ног её, подбирая хлебные крошки да яичную скорлупу от скромного полдника. После долгого-предолгого перерыва Клавдия встретила во сне Николая, и он, как прежде, невесомо погладил её по головке и назвал её «моя донюшка» и сказал глазами, что он всё знает. Она завсхлипывала во сне и выпустила прозрачную слюнку, улыбаясь, и даже увидела себя счастливо-спящей со стороны – так сладко стало ей, встретившей Николая. И чтобы продлить это счастье, она, чувствуя, как просыпается, старалась вновь погрузиться в дрему и ещё раз ощутить, как Николай прикоснётся к ней, своей единственной и любимой женщине. Она и не сразу проснулась, услышав чьи-то громкие возгласы.

Между тем случилось то, о чём предупреждал её зав МТФ – не потравить телятами находившиеся в полкилометре от пруда озимые.

Кричал Шурей Белозубов – верзила, сидевший по два года в каждом классе, начинавший каждый год учиться среди мелюзги неизменно за отдельной партой, где-нибудь у дальней стены за печкой, но вскоре по неведомой тяге делать, что хочет, исчезавший из школы. Его мать, Масютка, нагуляла ребёнка от кого не помнила, но кого весело, блестя глазами, называла вслух кобелями. А кобелей у неё было – пруд пруди... И вот этот полублаженный Шурка, в свою очередь пасший хуторских коз и овец, постреливая кнутом, выгонял её телят с озимых, а они, оглашенные, норовили бежать вглубь поля, вытаптывая нежные ростки. И Шурка что было мочи орал:

– Лолерейка, телята в поле зашли, озимые жрут!

Клавдия как вихрь снялась с места и помчалась к полю, а Шурей, как заведённый, орал:

– Лолерейка, гони своё стадо отседова!

Телят вдвоём выгнали, сбили в стадо. Шурей, увидев, как металась женщина, выкрикивая то Звёздочек, то Крутолобых, ржа от ведомого только ему удовольствия, поплёлся к своим овцам и козам, поминутно оглядываясь и словно рыгая смехом, а Клавдия погнала стадо подальше от пруда. В другое время она бы только поохала, обсуждая случай, но сейчас... Тьма застилала ей глаза – что она скажет заведующему? И как бесцеремонно называл её Шурка! Какая ещё Лолерейка?

Так же неожиданно до неё дошло, что именно кричал хуторской дурачок, и Клавдия охнула, и горизонт прозрачный закачался вдали, как в летнем мареве. Шурей Белозубов, некогда слышавший, как она проникновенно выводила в классе стихотворение «Лорелея», уловив её картавость в произнесении имени грустной девушки, припечатал ей кличку.

– Да разве мог даже этот невежа позволить назвать меня так, когда я была учительницей! – вскричала она так горько, что даже Красавица, переминавшаяся в своих белоснежных чулочках, подбирая поспешно травку, сторожко вскинула голову и пронзительно умно, как делают только коровы-кормилицы, словно жалея, посмотрела на женщину.

В глубоких сумерках, насыпав телятам дроблёнки, подбросив в кормушки по паре навильников еще не перебродившего, пахучего кукурузного силоса, убравшись, – словно отрешённая, Клавдия вышла на воздух. О том, что стадо телят зашло на озимые и потравило и выбило с полгектара, уже знала вся ферма. Доярки, ничего не говоря, поблёскивали глазами, а завфермой, за что-то коря механизаторов, ладивших калорифер, матерился «в бога-мать» громко, как никогда при ней ранее.

– Давай сюда, Клавдия! – донеслось до неё от дальней скирды. – Не горюй, а подчаливай к нам, красавица.

Кричал новоприбывший в хутор комбайнёр, Николай Сидоркин, пришедший на зиму на ферму за длинным рублем достроить собственный дом, человек партийный и женатый, говоривший всегда приятным шутливым тенорком. И Клавдия пошла на зов и примостилась на минутку в соломенном пыльном закутке, чтобы объяснить случившееся, а вместо этого заплакала.

– Устала я, Николай, ведь никто не понимает, как мучаюсь я, – всхлипывала Клавдия.

– Ты, Клавдия, ещё легко отделалась. А если бы попала туда, куда Макар телят не гонял – там лучше, что ли?

– Там все одинаковы, а здесь я одна такая...

Но потом, развеселившись от шуток и прибауток Николая, рассказавшего, как он натерпелся от летошного бычка, когда вёл его километров тридцать на гудки паровоза через Долговку продавать в Урюпино, да попал в Бударино, где рынка отродясь не было, просмеявшись, выпила с ним стаканчик беленькой. Да подавшись вперед, ненароком коснулась, уже пьяненькая, его фуфайки щекою да прикорнула, казалось, на секунду на плече у рассказчика жалостливого и, потакая его мягким рукам, не стала сопротивляться захмелевшему Николаю, не сумевшему не утешить женщину единственно по-мужски свойским делом.

Клавдия смеялась своим воркующе-мягким смехом, всхлипывала, снова смеялась и снова всхлипывала.

8

Клавдия отработала на ферме с год, когда её дальнейшую жизнь опять подкорректировал роковой случай.

Она так же держалась особняком; насколько возможно, одевалась опрятно, не материлась, как все доярки, в основном молчала. В феврале у коров пошёл дружный отёл, и Клавдия по распоряжению заведующего фермой Александра Двужилова, как и в прошлом году, переключилась на группу новорождённых. В нужные дни она не уходила домой и успевала принять новорождённого телёночка прямо из рук доярки и ветеринара и, накрыв его, наскоро облизанного матерью, дерюжкой, относила к себе в телятник. Вскоре и сладкое молозиво подспевало, принесённое дояркой в алюминиевом соске. Вместе они вдоволь напаявали телёночка, обтирали, и не было случая, чтобы Клавдия отлучалась, пока он самостоятельно не встанет, смешной и дрожащий, на ноги.

– Ты мой хороший, – приговаривала Клавдия, подсовывая соломку под телочка. – Отняли тебя от матери, косишься ты на нас, а не ведаешь, что по-другому и сделать нельзя. Толкнёт тебя коровка шибко, либо наступит на ножку, да откатишься ты на землю холодную да скользкую – как потом вставать будешь?

– Нет уж, – продолжала она через минуту, давая телёнку недопитый сосок, – мы тебя точно в обиду не дадим, живи, мой хороший.

Однажды доярка Ксения Плотникова, давно работавшая на дойной группе первотёлок, попросила Клавдию только что родившегося телёночка не забирать, а оставить на денёк с матерью – «разбить» у неё сосанием загрубевшие от мастита, к тому же маленькие, соски. Клавдия знала, что такой способ избавить корову от болезни действительно существует – пока у коровы три дня идёт густое молозиво, почему бы и не рассосать вымя. И она согласилась. А утром нашли телёночка мёртвым, да не в телятнике, где он должен быть по строгому определению начальства, а у опроставшейся коровы.

– Не Ксенька отвечает за телёнка, а ты! – грубо сказал завфермой. – До плана никак не дотянем, а ты...

Спустя полчаса Клавдия услышала, как Александр, разговаривая по телефону, прокричал кому-то:

– Лолерейка – она и есть Лолерейка, хоть тресни, руки не те.

И тут же добавил, отмякая голосом:

– Да нет, не пьёт.

В красном уголке на ферме, как и в клубе, висели одинаковые плакаты и транспаранты с надписями: «Догоним и перегоним Америку по надоям молока на фуражную корову!» Страна строила коммунистическое общество, в котором вся жизнь, как говорила партия, наполнится изобилием, и потекут молочные реки в кисельных берегах, и от каждого будут брать по надобностям и воздавать каждому по его потребностям. И Клавдия также была строительницей этого общества и не переставала свято верить партии и её высоким лозунгам.

Однажды, когда её неожиданно, как бы извиняясь за прошлую грубость, похвалил заведующий за выхоженного бедолагу, Клавдия подошла к Шурке Александриной, руководителю партзвена, и, потупясь, произнесла глубоким, волнующимся голосом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.